НАДТОЧИЙ В. Д.

МОСКОВСКИЙ ПОПАДАНЕЦ

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА НА WI-FI



18+

Владислав Надточий

Московский попаданец. Жалованная грамота на Wi-Fi

https://litres.ru/74728678
SelfPub; 2026

Аннотация

В XIX веке плохо ловит WiFi. Но гораздо хуже, когда пароль от него требует вся Российская империя.

Шестидесятичетырёхлетний монтажник Аркадий Пташкин собирался всего лишь починить интернет в старом московском доме. Вспышка, падение — и вот уже вокруг мостовые, жандармы и керосиновые лампы. Мобильной сети нет, дорога домой не открывается, зато единственный работающий роутер мгновенно превращает обычного связиста в местную сенсацию.

Для одних Аркадий — колдун. Для других — шпион. Для самых влиятельных людей эпохи — человек, способный передавать слова по воздуху и изменить судьбу страны.

Пока слухи о чудесной связи разносятся быстрее телеграмм, вокруг попаданца сплетается сеть интриг, соперничества и неожиданных союзов. Ему предстоит объяснить будущее на пальцах и случайно не переписать прошлое.

Но впереди ждёт главный сюрприз: возможно, Аркадий попал сюда не случайно — и кто-то уже давно знает пароль от этой истории.

Содержание

Глава 1. Перезагрузка не помогает 6
Глава 2. Нет сети 25
Глава 3. Жалованная грамота 49
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Владислав Надточий
Московский попаданец. Жалованная грамота на Wi-Fi

Все события и персонажи настоящего произведения вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, организациями, местами и событиями случайны.

Глава 1. Перезагрузка не помогает

За сорок три года работы я объяснил, что такое интернет, примерно шести тысячам бабушек. Дедушкам тоже объяснял, но дедушки обычно делают вид, что всё поняли, и потом звонят на горячую линию от имени бабушки. Бабушки честнее. Бабушка прямо говорит: «Аркадий, я ничего не поняла, объясни на пальцах». И я объясняю на пальцах. У меня их, слава богу, по-прежнему десять, хотя в восемьдесят девятом году я чуть не оставил один в распределительном щитке в Капотне.

Зовут меня Аркадий Семёнович Пташкин. Мне шестьдесят четыре года, я монтажник-наладчик в компании «Ладушки-Телеком», и если у вас в квартире когда-нибудь висел на стене белый пластмассовый ящичек с лампочками, есть шанс, что его прикрутил я. В отделе кадров у нас в анкете есть графа «образование», и там у меня написано гордо и коротко: «Техникум связи, 1981». Ниже есть графа «повышение квалификации». Там написано: «Жизнь».

Четверг, шестнадцатое июля, начался как обычно, то есть с телефона. Телефон у меня звонит раньше будильника, потому что будильник я ставлю на шесть, а Тамара встаёт в половине шестого.

— Аркадий, бутерброды я тебе положила в морозилку, — сказала Тамара. — Не в холодильник, а в морозилку, чтобы

до обеда дошли. С сыром и с котлетой. Котлету не грей в чужой микроволновке, там у людей неизвестно что.

— Тамара, — сказал я, — мы с тобой развелись в девяносто восьмом году.

— Ну и что? Котлету ведь тебе никто другой не сделает.

Это была правда. Тамара, моя вторая жена, бухгалтер на пенсии, живёт в соседнем подъезде и обладает ключом от моей квартиры, потому что у неё есть ключ от всего. Она до сих пор кладёт мне в морозилку бутерброды, а я до сих пор чиню ей телевизор. Это и называется цивилизованный развод. Мой внук Степан говорит, что у нас с бабушкой Тамарой «подписка без продления, но с бонусами». Степану десять лет, и я не всегда понимаю, что он говорит, но этому выражению я радуюсь каждый раз.

Вообще жён у меня было три. Я не хвастаюсь, я просто перечисляю. Первая, Людмила, учительница пения, родила мне дочь Оксану и до сих пор поёт на всех наших семейных праздниках так, что дрожат бокалы. Вторая, Тамара, с бутербродами, родила мне сына Дениса. Третья, Жанна, тренер по скандинавской ходьбе, на пятнадцать лет меня моложе, детей мне не родила, зато привела в семью двух внуков-близнецов от своей дочери, Глеба и Гордея, трёх лет от роду, которые называют меня «дедушка» и вешаются мне на шею одновременно с двух сторон, как ёлочные игрушки на очень старую ёлку. Всего внуков пятеро: Степан, Варвара, Тимур и близнецы. На Новый год все три бывшие жены сидят у меня

за одним столом и обсуждают моё давление. Соседи думают, что я восточный человек. Я не восточный. Я просто из Лефортова.

Мама моя была лифтёршей, отец водил трамвай по тридцать второму маршруту. От мамы я унаследовал уважение к любой кнопке, от отца привычку разговаривать с техникой вслух. Трамвай отец называл Зинаидой и, когда тот буксовал на подъёме, говорил ему: «Зинаида, не позорь меня перед пассажирами». Я своим роутерам говорю примерно то же самое.

В шесть сорок я уже был в машине. Машина у меня служебная, каблучок с надписью «Ладушки-Телеком. Мы соединяем сердца!» на борту. Насчёт сердец придумали в отделе маркетинга, а соединять приходится в основном витую пару. Первым адресом в тот день была Нина Ивановна с Каширки.

— Аркадий Семёнович, у меня опять пропал интернет, — сказала Нина Ивановна, едва открыв дверь. — Совсем. Я и так, и сяк, и молилась.

— А перезагружать пробовали?

— Пробовала. Не помогает.

Я прошёл в комнату. Роутер стоял на шкафу, за фикусом, и был выключен из розетки. Рядом в розетку был включён удлинитель, в удлинитель — электрический самовар, мультиварка, обогреватель для ног и, почему-то, ёлочная гирлянда.

— Нина Ивановна, — сказал я, — а гирлянда зачем? Июль ведь.

— Так красиво же. А роутер я выдернула, чтобы самовар влез. Я думала, интернет — он же в проводе, он в нём и полежит, подождёт.

Вот это и есть главная загадка моей профессии. Люди уверены, что интернет живёт в проводе, как вода в трубе, и, если трубу перекрыть, он там постоит и подождёт. Тридцать лет назад я пытался объяснять про пакеты, протоколы и частоты. Сейчас я объясняю на пальцах.

— Смотрите, — сказал я и показал ей ладонь. — Вот это у нас Москва. Вот этот палец ваш дом. Вот этот палец мой провайдер. А между ними что? Правильно, ничего. Пусто. А чтобы было не пусто, нужна дорога. Провод — это дорога. А по дороге едут машинки. Каждая машинка везёт кусочек письма. А роутер, — я ткнул пальцем в белый ящичек, — это постовой на перекрёстке. Если постовой ушёл домой, машинки стоят. Им никто не говорит, куда ехать. Понятно?

— Понятно, — сказала Нина Ивановна. — А если постовой самовар?

— Самовар не постовой. Самовар — это ДПС. Он всё отбирает и ничего не регулирует.

Нина Ивановна засмеялась, включила роутер обратно, а самовар переставила на кухню. Через минуту у неё на планшете снова пели какие-то люди в кокошниках. Я записал в наряд: «Восстановлено подключение. Проведена разъясни-

тельная работа». Разъяснительную работу я пишу почти в каждом наряде. В «Ладушках» говорят, что если бы мне за неё платили отдельно, я бы давно купил себе квартиру у моря. Но мне платят за наряд. Разъяснительная работа идёт бонусом, как бутерброды от Тамары.

Вторым адресом был Олег Валентинович из Царицына, который купил «умный» холодильник и требовал, чтобы холодильник видел вайфай. Холодильник вайфай видел, но не хотел к нему подключаться, потому что Олег Валентинович назвал свою сеть словом из пяти букв, которое холодильник, как воспитанный прибор, отказывался произносить. Мы переименовали сеть в «Олег_дома». Холодильник подумал и подключился. Олег Валентинович был разочарован: он рассчитывал, что холодильник будет сам заказывать пиво, а холодильник стал присылать ему на телефон напоминание «Дверца открыта более двух минут».

— Это что же, он за мной следит? — спросил Олег Валентинович.

— Он о вас заботится, — сказал я. — Как бывшая жена.

Потом была молодая пара в Братееве, у которых вайфай «не проходил на кухню». Вайфай не проходил на кухню, потому что между комнатой и кухней у них стоял аквариум на четыреста литров. Вода, как известно, радиоволны не любит. Рыбы тоже. Я посоветовал переставить роутер. Молодой человек посоветовал переставить аквариум. Девушка посоветовала молодому человеку переставить себя к маме. Я ти-

хо поставил им второй роутер на кухню, в режиме моста, и ушёл, пока семья не распалась. На лестнице я подумал, что за свою карьеру спас от развода больше пар, чем любой семейный психолог, и ни одну из своих.

В обед я сидел в машине на стоянке у «Каширской» и ел Тамарину котлету, холодную, как и было велено. Позвонила дочь Оксана.

— Пап, ты в субботу Степана с Варварой возьмёшь? Мы с Михаилом на дачу к его родителям, там плитку класть.

— Возьму. Рыбу будем ловить.

— Только не на Пахре. В прошлый раз Варвара пришла домой с пиявкой на коленке и сказала, что это её домашний питомец.

— Пиявка — очень полезное животное. Её в аптеке продают.

— Пап.

— Не на Пахре, понял.

Через десять минут позвонил Денис и спросил, можно ли мне привезти в субботу Тимура, потому что у них в садике карантин, а у Дениса аудит. Через пятнадцать минут позвонила Жанна и сказала, что в субботу у неё забег, поэтому близнецов тоже надо куда-то деть, и как удачно, что я свободен. Я сказал, что я свободен, как ветер. Жанна сказала, что ветер у неё в группе ходит с палками каждое утро и, в отличие от меня, следит за давлением. Я посмотрел на свой бутерброд с котлетой и ничего не ответил.

Пятеро внуков в субботу. Одна удочка на всех. Я записал в телефон: «Купить ещё удочек. И сачок. И пластырь. И валерьянки». Валерьянки — себе.

В два часа позвонил Рустам, диспетчер.

— Аркадий Семёныч, вы легенда, — сказал Рустам. Он так начинает каждый разговор, когда хочет попросить невозможного. — Есть один адресок. Сложный.

— Сложный — это какой?

— Солянка. Переулок за ней. Дом старый, внутри перепланировка, бабушке девяносто один год. Ребята к ней два раза ездили, не смогли. Говорят, сигнал не проходит. Стены, говорят, метр толщиной.

— Метр — это ерунда, — сказал я. — Я в Лефортовской тюрьме кабель тянул. Там стены такие, что сигнал выходит оттуда только по амнистии.

— Вот и я говорю: Пташкин сможет. Аркадий Семёныч, вы легенда.

— Ты повторяешься, Рустам.

— Это потому что вы легенда дважды.

Я поехал на Солянку.

По дороге я застрял в пробке на Садовом. Пробка стояла так плотно, что водитель соседней машины, молодой человек в белой рубашке, успел за это время провести совещание по видеосвязи, пообедать и, кажется, поссориться с девушкой. Всё это я видел через стекло. Девушку тоже, она была на экране телефона, прикреплённого к его рулю, и выглядела

очень недовольной. Потом молодой человек опустил стекло и спросил, не знаю ли я, почему у него в машине пропал интернет.

— Тоннель впереди, — сказал я. — В тоннеле сигнал не проходит.

— А как же тогда люди раньше жили? — спросил молодой человек с искренним ужасом. — Без интернета в тоннелях?

— Раньше люди в тоннелях разговаривали друг с другом, — сказал я.

Молодой человек посмотрел на меня так, как, наверное, посмотрели бы на меня в пятнадцатом веке, если бы я сказал им, что когда-нибудь люди будут разговаривать через стенку без крика. Потом пробка тронулась, и он уехал в тоннель, к своей обиженной девушке, а я поехал за ним.

Дом стоял в глубине переулка и выглядел так, как будто его построили, потом достроили, потом перестроили, потом про него забыли, потом вспомнили и снова достроили. Нижний этаж был сложен из огромных кирпичей, побелённых много раз, окна в нём были маленькие и глубокие, как у бойниц. Выше шёл нормальный доходный дом девятнадцатого века с лепниной, а ещё выше, на крыше, кто-то лихо надстроил мансарду. У подъезда висела табличка: «Памятник архитектуры. Охраняется государством». Ниже, от руки, кто-то приписал: «И кошками». Кошки действительно сидели на ступенях, четыре штуки, и смотрели на меня как на налогового инспектора.

Квартира номер один занимала почти весь нижний этаж. Дверь мне открыла маленькая сухонькая старушка с прямой спиной, в синем платье с белым воротником и с лорнетом на цепочке. Не с очками. С лорнетом. Я до этого лорнет видел только в кино.

— Вы третий, — сказала она вместо «здравствуйте». — Предыдущие двое были очень милые мальчики, но совершенно без образования. Один спросил меня, кто такой Иван Третий и не родственник ли он Ивану Грозному. Вы знаете, кто такой Иван Третий?

— Знаю, — сказал я. — Это который был до Ивана Четвёртого.

Старушка посмотрела на меня через лорнет долгим взглядом.

— Логично, — признала она. — Проходите. Изольда Марковна Шерстобитова. Сорок лет водила экскурсии по Кремлю. Ноги вытирайте, пол тоже памятник.

Пол действительно был памятник: каменные плиты, стёртые до блеска, с ложбинками посередине, как ступени старой церкви. Своды над головой были низкие, тяжёлые, крестовые, побелённые известью. Стены у окон я измерил на глаз и понял, что ребята не врали: метр там был, и ещё с запасом.

— Пятнадцатый век, — сказала Изольда Марковна с гордостью, заметив мой взгляд. — Нижние палаты. Купеческие. Здесь, до того как построили стену Китай-города, был Великий посад. Торговали, жили, ругались, пожары тушили. А

потом поверх всего этого поставили доходный дом. Это как если бы на вашу бабушку надели вечернее платье.

— Моя бабушка носила только халат, — сказал я. — И вечернее платье поверх халата не налезло бы.

— Тогда как надели бы на мою бабушку, — разрешила Изольда Марковна. — Она носила корсет до девяноста лет. Итак. Мне нужен этот ваш вай-фай.

Она произнесла его медленно, с ударением на оба слога, как название вина.

— Для чего, если не секрет?

— Для видеосвязи. У меня правнук в Новосибирске. Ему четыре года, и он показывает мне по телефону динозавров. У нас установлен ритуал: каждое воскресенье в десять утра по Москве он показывает мне нового динозавра, а я рассказываю ему про какого-нибудь царя. Мы обмениваемся вымершими существами. Но телефон здесь не ловит, мне приходится выходить на улицу, на ступеньки, к кошкам. А мне девяносто один год, молодой человек. Я не хочу встречать каждого нового динозавра на ступеньках.

Я осмотрел квартиру. Кабель провайдера входил в подъезд и доходил до щитка на первом этаже, но оттуда до квартиры Изольды Марковны его не протянуть было иначе, как через подвал: все стены были капитальные, а перфоратором в памятнике архитектуры работать нельзя, за это сажают не хуже, чем за кражу кабеля. Значит, надо было найти, где под полом идут старые ходы, и протянуть провод снизу, а потом

в квартире поставить роутер посередине, под сводом.

— Подвал у вас есть? — спросил я.

— Подвал у меня есть, — с удовольствием сказала Изольда Марковна. — Подвал у меня такой, что туда водили иностранцев. Пока я не вышла на пенсию и не перестала их водить. Вход из кладовки. Там ступени, будьте осторожны. И, кстати, если вы найдёте там старинный клад, он, по закону, принадлежит государству, но, по совести, мне.

Пока я раскладывал инструмент, она сидела в кресле с вязанием и рассказывала. Я не просил, но остановить экскурсовода с сорокалетним стажем невозможно, это как остановить трамвай на подъёме.

— Вы знаете, что этот дом мог видеть Аристотеля Фиораванти? — говорила она. — Итальянский инженер, из Болоньи. Иван Третий пригласил его в Москву строить Успенский собор, потому что свой собор у русских мастеров рухнул. Фиораванти приехал в тысяча четыреста семьдесят пятом. Ему было уже за шестьдесят, представьте! Почти как вам. Построил собор за четыре года. Освятили его в тысяча четыреста семьдесят девятом, в августе. Двенадцатого числа. Я этот день каждый год отмечаю пирогом с вишней.

— Почему с вишней?

— Потому что я люблю пироги с вишней, молодой человек, а повод нужен. Так вот. А на следующий год, в тысяча четыреста восьмидесятом, было Стояние на Угре. Вы знаете, что такое Стояние на Угре?

Я в этот момент обжимал коннектор и ответил, не подумав:

— Это когда на остановке на Угрешской стоишь сорок минут, а автобуса нет.

Изольда Марковна отложила вязание.

— Вам повезло, что я в хорошем настроении, — сказала она. — Хан Ахмат, Большая Орда. Пришёл наказать Москву за то, что та перестала платить дань. Встал на одном берегу реки Угры, наши на другом. Стояли месяц, постреляли, покричали друг на друга, потом река замёрзла, наши отошли, а Ахмат постоял-постоял и тоже ушёл. Восьмого октября начали, одиннадцатого ноября он ушёл. И всё. Конец ига. Двести сорок лет, и закончилось тем, что все разошлись по домам. Великое событие без великой битвы. Мне всегда это нравилось. Мужчины, которые сумели не подраться, — большая редкость.

— Мы с моими жёнами тоже сумели не подраться, — сказал я. — Все три раза.

— Поэтому вы до сих пор живы, — сказала Изольда Марковна и снова взялась за вязание.

Пока мы разговаривали, за окнами потемнело. Небо над Солянкой стало серо-лиловым, как синяк, и где-то далеко, над Таганкой, глухо заворчало. Синоптики с утра обещали «кратковременные грозовые дожди с усилением ветра», что на синоптическом языке означает «будет как в прошлый раз, только хуже».

— Гроза идёт, — сказала Изольда Марковна. — Будьте осторожны в подвале. Там есть электричество, но оно со времён Хрущёва и с характером.

— Электричество с характером — это моя специальность, — сказал я и полез в кладовку.

Сумку я, по старой привычке, взял с собой целиком. Мой инструктор в техникуме, Валентин Аркадьевич, говорил: «Монтажник без сумки — это не монтажник, а турист». Сумка у меня брезентовая, старая, на ремне, и в ней лежит всё, что может понадобиться человеку на объекте, а также многое из того, что не может. Обжимка. Отвёртки. Тестер. Моток витой пары метров на сорок. Пачка коннекторов. Изолента, синяя и чёрная, синяя для настроения, чёрная для работы. Налобный фонарик. Карманный роутер с аккумулятором, которым мы проверяем сигнал на объектах. Рабочий телефон, старый, тестовый, с треснутым экраном, на котором стоит программа для переговоров по локальной сети: монтажники с ним перекрикиваются из подвала на чердак. Мой собственный телефон, поновее. Пауэрбанк на двадцать тысяч. Складная солнечная панель, которую мне подарила на юбилей Жанна, для рыбалки, чтобы телефон не садился на берегу. Очки для чтения, плюс два с половиной. Таблетки от давления. Пачка лейкопластыря. Компас: подарок Степана на двадцать третье февраля, Степан сказал, что «деда, ты всегда теряешься в новостройках». И, конечно, бутерброды, второй комплект, с сыром, в фольге.

Ступени в подвал были каменные, крутые и стёртые посередине. Внизу пахло сыростью, холодным камнем и чем-то ещё, очень старым, как пахнут церкви и бабушкины сундуки. Я включил налобный фонарик. Подвал оказался длиннее, чем я думал, и разделялся на несколько отсеков, низких, со сводами, такими низкими, что мне пришлось наклонить голову. В дальнем отсеке на стене висела хрущёвская распределительная коробка, от которой куда-то вбок уходили провода в тряпичной изоляции. Я посмотрел на них и мысленно перекрестился. Провода в тряпичной изоляции — это как старый пёс: он может быть добрым, а может и укусить, и сам заранее не знает.

Нужный мне ход шёл из дальнего отсека под квартиру. Я нашёл старую вентиляционную трубу, проверил, что через неё можно протянуть кабель, привязал витую пару к проволоке и начал аккуратно проталкивать. Наверху, в квартире, Изольда Марковна должна была увидеть конец проволоки, торчащий из-под половой плиты у камина. Мы договорились, что она постучит палкой в пол, когда увидит.

Я включил карманный роутер, чтобы проверить сигнал. На тестовом телефоне появилась сеть «Ladushki_Test». Полная шкала. Хоть что-то в этом подвале ловило.

Наверху ударил гром. Не далеко, над Таганкой, а прямо над нами, над Солянкой, так что с потолка подвала посыпалась известка. Лампочка в хрущёвском патроне мигнула. Хрущёвская коробка на стене загудела, как растревоженный

улей.

— Спокойно, — сказал я коробке тем самым голосом, которым мой отец разговаривал с Зинаидой. — Не позорь меня.

Коробка не послушалась. Ударило ещё раз, и я увидел, как по тряпичным проводам пробежала голубая искра, весёлая и злая, и прыгнула на мою витую пару, на проволоку, которую я держал в руке. Меня тряхнуло так, как не трясло с восемьдесят девятого года, с того самого щитка в Капотне. Фонарик погас. Роутер в моей руке пискнул. Я сделал шаг назад, нога поехала по мокрой стёртой ступени, и я сел. Точнее, полетел. Вниз, куда-то, где, как мне казалось, никаких ступеней раньше не было.

Последнее, что я помню, это голос Изольды Марковны сверху, приглушённый камнем:

— Аркадий Семёнович! Я вижу проволоку! Стучу!

И стук палкой в пол. Три раза. Как будто кто-то вежливо постучался в дверь, которой не существует.

Очнулся я от того, что мне на лицо капало.

Капало мерно, неторопливо, прямо в лоб, как в китайской пытке, про которую рассказывал Денис после командировки. Я открыл глаза. Было темно. Пахло сыростью, холодным камнем, кислой капустой и дёгтем. Ещё пахло мышами. Мыши, видимо, были тут же: что-то зашуршало у меня под боком и с возмущённым писком убежало.

Я пошевелился. Руки на месте, ноги на месте, сумка на

ремне. Колени болели, но колени у меня болят с две тысячи седьмого года, и это скорее признак жизни, чем повод для беспокойства. Я нашарил на лбу фонарик и нажал кнопку. Фонарик, против ожидания, зажёгся.

Подвал был тот же самый. Те же низкие своды, те же стёртые ступени. Но что-то было не так, и я не сразу понял, что именно. Потом понял: побелки не было. Кирпич был новый, красно-рыжий, не побелённый ни разу. На полу стояли бочки, много бочек, с деревянными обручами. У стены лежали рогожные мешки. С потолка на верёвке свисал пучок сушёной травы. Хрущёвской коробки на стене не было. Проводов не было. Вентиляционной трубы не было. Витая пара, которую я держал, кончалась у меня в руке аккуратным обрывком, как будто её отрезали.

— Изольда Марковна? — позвал я.

Никто не ответил. Только над головой, сквозь своды, послышался топот, скрип, лошадиное ржание и голос, громкий и сердитый:

— Да куда ж ты прёшь, лихоманка тебя возьми! Не видишь, мостовая!

Я подумал, что это, наверное, кто-то с улицы. Ругаются у нас в Москве по-разному, но слово «лихоманка» я последний раз слышал от бабушки по отцу, которая родилась в деревне под Рязанью в тысяча девятьсот девятом году. А «мостовая» в переулке за Солянкой давно лежит асфальтовая, и прямо над подвалом никакой улицы нет, там квартира

Изольды Марковны с камином.

Я посмотрел на тестовый телефон. Сеть «Ladushki_Test» по-прежнему горела полной шкалой: роутер был у меня в руке, он никуда не делся. А вот мобильной связи не было. Совсем. Ни одной палочки. Значок в углу экрана показывал крестик и надпись, которую я видел за свою жизнь тысячи раз и никогда не воспринимал так лично: «Нет сети».

Я посмотрел на часы в телефоне. Шестнадцатое июля, четверг, шестнадцать часов двадцать три минуты. А сверху, сквозь своды, кто-то сказал:

— Кузьма! Бочки в подклет сносил? Ну так сноси, чего встал, обедня скоро!

Обедня в половине пятого вечера в четверг? Я не большой знаток церковных служб, но даже я знаю, что это странно.

Я поднялся, придерживаясь за бочку. Колени хрустнули так, что мыши, наверное, подумали, что это выстрел. Ступени, по которым я спускался, были на месте, только теперь они вели не в кладовку Изольды Марковны, а к деревянной дощатой двери, сквозь щели в которой пробивался дневной свет. Свет был жёлтый, летний, тёплый, совсем не грозовой.

— Ну, — сказал я сам себе, — объясняю на пальцах. Ты упал в подвал, ударился головой, и сейчас ты выйдешь, и там будет Солянка, и кошки, и Изольда Марковна с лорнетом. А шум, бочки и лихоманка тебе мерещатся. Сосчитай пальцы.

Я сосчитал. Пальцев было десять. Это успокаивало.

Я поднялся по ступеням, толкнул дверь, и она открылась

наружу, на солнце, на пыль, на запах навоза, свежего хлеба, дыма и реки. Прямо передо мной стояла телега, запряжённая рыжей лошадью, а на телеге сидел бородатый мужик в рубахе до колен, подпоясанной верёвкой, и смотрел на меня, открыв рот.

Я тоже открыл рот. Так мы и смотрели друг на друга, как два абонента, которые одновременно набрали друг друга и попали на «занято».

Где-то совсем близко, за крышами, ударил колокол. Не так, как бьют колокола на Пасху по телевизору, а просто, будничнo, ровно, как будто кто-то сверял часы. За ним другой. За ним третий. И мимо меня, над головой, свистнув крыльями, низко пронеслась стая голубей, белых и сизых, и одновременно где-то рядом кто-то засвистел в два пальца так пронзительно, что у меня зазвенело в ухе со слуховым аппаратом, которого у меня, слава богу, пока нет.

Мужик на телеге закрыл рот, перекрестился, снова открыл рот и сказал:

— Свят, свят, свят. Ты чей будешь?

Я посмотрел на свою оранжевую жилетку с надписью «Ладушки-Телеком. Мы соединяем сердца!», на сумку, на роутер в руке, на налобный фонарик, который всё ещё светил мне на нос.

— Я, — сказал я, — монтажник. По вызову.

Мужик подумал и перекрестился ещё раз. Видимо, слово «монтажник» в его списке было где-то между лешим и на-

логовым инспектором.

Глава 2. Нет сети

Есть у монтажников одно правило, которое ни в одной инструкции не написано, но знают его все: если на объекте что-то пошло не так, сначала улыбнись. Хозяева квартиры, увидев улыбающегося мастера, решают, что всё под контролем. Мастер, увидев, что хозяева успокоились, успокаивается сам. А пока все успокаиваются, можно спокойно подумать, что делать дальше.

Я улыбнулся мужику на телеге. Мужик на телеге перекрестился в третий раз и на всякий случай отъехал.

Я огляделся. Подвал, из которого я вылез, был подклетом большого деревянного дома, крепкого, из толстых брёвен, с высоким крыльцом и резными столбиками. Нижний этаж был каменный, кирпичный, тот самый, который Изольда Марковна называла пятнадцатым веком, только теперь он был новенький и сиял на солнце, как пасхальное яйцо. Верхний был деревянный. Никакой мансарды, никакой лепнины, никакого доходного дома. Справа и слева стояли такие же дворы, обнесённые тынами, с воротами, крышами, колодцами-журавлями. Улица была вымощена брёвнами, положенными поперёк, и брёвна эти прогибались и чавкали под колёсами телег. По брёвнам шли люди, много людей, в длинных рубахах, в кафтанах, в шапках, бабы в платках и в чём-то вроде сарафанов, босые мальчишки, монах в чёрном с посо-

хом, мужик с корзиной, полной живых гусей, которые возмущались каждый на свой лад. Пахло всем сразу: дымом, конским навозом, свежими досками, печёным хлебом, рыбой и рекой.

А над всем этим, совсем близко, за крышами, на холме, белели стены. Не красные кремлёвские, которые я сто раз видел на открытках, а белые, каменные, местами осыпавшиеся, местами залатанные деревом, с башнями, похожими на шахматные ладьи. И над стенами, в лесах, в деревянных переплётах, поднимался огромный белый собор с золотыми, ещё не до конца обшитыми главами. Леса облепили его со всех сторон, по лесам ползали люди, крохотные, как муравьи, и на одной из глав солнце уже горело так, что было больно смотреть.

Я стоял и смотрел, и в голове у меня, как назло, звучал голос Изольды Марковны: «Построил собор за четыре года. Освятили его в тысяча четыреста семьдесят девятом, в августе».

— Так, — сказал я вслух. — Объясняю на пальцах.

Я поднял руку и начал загибать пальцы.

— Первое. Это не Солянка. Второе. Это не кино, потому что в кино не стали бы так натурально мазать навоз. Третье. Связи нет. Четвёртое. Собор в лесах. Пятое…

На пятом пальце меня дёрнули за жилетку.

Рядом стоял мальчишка лет пятнадцати, худой, вихрастый, загорелый до черноты, в рубахе, которая когда-то бы-

ла белой, а теперь была цвета этой самой улицы. Босой. На плече у него сидел голубь, белый, с чёрной полосой на хвосте, и смотрел на меня тем же внимательным взглядом, что и хозяин.

— Дядька, — сказал мальчишка, — ты пошто пальцы гнёшь? Ворожишь?

— Считаю, — сказал я.

— А чего считаешь?

— Сколько у меня проблем.

Мальчишка посмотрел на мою руку. На руке было загнуто пять пальцев.

— Мало, — сказал он с уважением. — У меня больше.

Он засунул два пальца в рот и свистнул. Это был тот самый свист, от которого у меня минуту назад зазвенело в ухе. Голубь на его плече вспорхнул, сделал круг над улицей и вернулся. Откуда-то сверху, с крыши соседнего двора, к нему спикировали ещё три.

— Василий я, — сказал мальчишка. — Кочет. Голубей держу. А ты кто будешь, дядька? Ты от Евсеева подклета вылез. Я видал. Там у Евсея сукно и мёд. Ты сукно крал али мёд?

— Ничего я не крал. Я… кабель тянул.

— Кого тянул?

— Провод. Верёвку такую. Для связи.

Василий посмотрел на обрывок витой пары, который всё ещё висел у меня в руке, серый, с синей полоской.

— Верёвка-то худая, — сказал он со знанием дела. — На ней и курицу не повесишь.

Тут на крыльцо выбежал хозяин дома. Крупный, рыжебородый, в синем кафтане, с полотенцем на плече: видно, отобедал и отдыхал, а тут шум. За ним выскочили баба в платке, ещё одна баба в платке, двое работников и, кажется, вся дворовая собачья стая.

— Кто таков?! — заорал хозяин. — Из моего подклета?! Кузьма! Держи вора!

Кузьма, тот самый мужик с телегой, не стал меня держать. Кузьма сидел на телеге в безопасном отдалении и крестился, теперь уже в четвёртый раз, видимо, на будущее. Работники хозяина бросились ко мне, но, добежав, остановились в двух шагах. Я понимал их. На мне была оранжевая жилетка со светоотражающими полосами, светящийся налобный фонарик и сумка, из которой торчала обжимка, похожая на маленькие клещи для пыток. Я бы тоже остановился.

— Здравствуйте, — сказал я хозяину. — Я из «Ладушек». По вызову. У вас в подвале, извините, не было сигнала.

— Сигналу? — переспросил хозяин.

— Связи. Интернета.

— Чего?

— Евсей Мироныч, — сказал Василий, протиснувшись вперёд. — Он не вор. Он верёвки для связи тянет. Худые.

— Какие ещё верёвки? — Евсей Мироныч побагровел. — Сторожу зовите! Пущай сторожа разбирает, что за верёвки!

Собралась толпа. Это я умею определять безошибочно: за свою жизнь в поле видел все виды толп, от собрания жильцов по поводу шлагбаума до очереди за справкой в МФЦ. Толпа на Великом посаде была самая лучшая из всех, которые я видел, потому что она не снимала меня на телефоны. Она просто стояла, смотрела, крестилась и комментировала.

— Немчин, — сказал кто-то.

— Не, не немчин. Немчины в штанах узких. А этот в портах широких.

— Фрязин. Фрязины к нам ныне едут. Вон, Аристотель-фрязин церковь кладёт.

— А огонь на лбу пошто?

— Чтоб в подклете видать.

— Глянь, глянь, у него на пузе написано!

— Чего написано?

— А я почём знаю, я грамоте не учён. Отец Варсонофий, прочтите!

Из толпы вытолкнули священника, молодого ещё, лет тридцати, с русой бородкой и строгими глазами. Он подошёл ко мне, прищурился на мою жилетку и медленно, по складам, прочёл:

— «Ла-ду-шки… Те-ле-ком…» — Он поднял на меня глаза. — Ладушки — это я разумею. «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки». А «телеком» — это что?

— Это… — я замялся. — Это фамилия.

— Странная фамилия. А ниже? «Мы со-е-ди-ня-ем сер-

дца». — Отец Варсонофий нахмурился. — Это ты, выходит, сводник? Сердца соединяешь?

Толпа ахнула и подалась назад. Видимо, к сводникам на Великом посаде относились хуже, чем к ворам.

— Нет, нет, — сказал я. — Это наш отдел маркетинга придумал. Я соединяю провода. Не сердца. Сердца это… это фигура речи.

— Фигура? — переспросил отец Варсонофий с подозрением. — Чья фигура?

Я понял, что каждое моё слово рождает три новых вопроса, и решил замолчать. В этот момент толпа расступилась, и появилась сторожа.

Сторожа состояла из четырёх мужиков с топорами на длинных ручках и одного крупного, плечистого, с бородой лопатой и с лицом, на котором было написано, что он видел всё и что ему всё надоело. На поясе у плечистого висела сабля, а на голове была шапка, отороченная мехом, несмотря на июль.

— Сотник Онфим Глазов, — сказал он, глядя на меня сверху вниз. Он был выше меня на полголовы, а это редкость: во мне метр восемьдесят два, и в нашей бригаде меня зовут «антенна». — Чей ты, откуда, по какому делу, и пошто в подклете у гостя Евсея Шерстобита сидел?

Шерстобит. Мне эта фамилия показалась смутно знакомой, но обдумывать её было некогда.

Я раскрыл рот, чтобы ответить, и понял, что не знаю, что

отвечать. Сказать правду, что я из две тысячи двадцать шестого года, монтажник из Бирюлёва, упал в подвал за Солянкой? Солянки, судя по всему, ещё не было. Бирюлёва тоже. Две тысячи двадцать шестого года, тем более.

Тогда я решил сделать то, что делаю с самыми сложными клиентами: начать с вопроса.

— Простите, — сказал я сотнику, — а какое сегодня число?

Сотник посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который в бане спрашивает, где тут раздевалка.

— Шестнадцатое июля, — сказал он. — Пятница. Ты что, пьян?

— Не пью, давление. — Пятница, подумал я. Утром у меня был четверг. Где-то по дороге я потерял сутки, и это было, как потом выяснилось, самое мелкое, что я потерял. — А год какой?

Тут уже не выдержала толпа.

— Года не знает! — радостно сказал кто-то. — Точно фрязин! У фрязей своё лето!

— Лето шесть тысяч девятьсот восемьдесят седьмое от сотворения мира, — сказал отец Варсонофий торжественно. — А от Рождества Христова, как фрязи считают, ежели тебе так понятнее, тысяча четыреста семьдесят девятое.

Он сказал это не сразу, а сначала пошевелил губами, отнимая в уме, и я заметил, что считает он быстро. Надо будет запомнить. Человек, который так быстро отнимает пять ты-

сяч пятьсот восемь, мне ещё пригодится.

Тысяча четыреста семьдесят девятый. Шестнадцатое июля. Собор освятят двенадцатого августа. Изольда Марковна в этот день печёт пирог с вишней.

Я сел на ступеньку крыльца, потому что ноги в коленях вдруг согнулись сами. Этому есть медицинское объяснение: в шестьдесят четыре года ноги сгибаются, когда хотят. Особенно когда им сообщают, что до ближайшей поликлиники пятьсот сорок семь лет.

— Плохо ему, — сказала баба в платке, жена Евсея. — Гляди, побелел. Может, водицы?

— Может, и водицы, — сказал я. — А лучше от давления таблеточку.

Я полез в сумку за таблетками. Сотник Глазов, увидев, что я лезу в сумку, тут же положил руку на саблю, а четверо его людей подняли топоры. Пришлось доставать таблетки медленно, двумя пальцами, как достают документы на посту ДПС.

— Это что? — спросил сотник, глядя на блистер.

— Лекарство.

— Зелье, — перевёл кто-то в толпе.

— Бесовское! — подхватил кто-то ещё.

— Ничего не бесовское, — сказал я. — Обычное. Аптечное. От давления. Вот, смотрите.

Я выдавил таблетку и проглотил. Толпа замерла и ждала, что я сейчас обернусь волком или хотя бы задымлюсь. Я не

обернулся и не задымился, только запил водой, которую мне принесла жена Евсея в деревянном ковше. Толпа явно была разочарована.

— Сумку, — сказал сотник, протянув руку.

Отдавать сумку не хотелось. В сумке была вся моя жизнь, а также два телефона, роутер и бутерброды. Но сотник протянул руку так, что было понятно: руку эту лучше не задерживать.

Он открыл сумку и начал выкладывать содержимое прямо на ступеньку крыльца, перед толпой. Каждый предмет толпа встречала отдельным выдохом.

Обжимка. Выдох. «Клещи». «Для зубов». «Для пыток». «Для ногтей».

Отвёртки. «Шилья».

Тестер, жёлтый, с двумя проводками и стрелкой. Тут толпа загудела по-настоящему. Тестер был старый, стрелочный, советский, я его храню из сентиментальности, а стрелка на нём, когда тестер трясут, дрожит, будто живая. Сотник потряс, стрелка задрожала. Кто-то из баб завизжал.

— Живая!

— Ничего не живая, — сказал я. — Это прибор. Измеряет напряжение.

— Чьё напряжение? — спросил отец Варсонофий.

— Ваше, — сказал я, не подумав. — Вот сейчас, например, большое.

Отец Варсонофий посмотрел на меня долгим взглядом, и

я понял, что в этом времени шутить надо осторожнее. Не все тут, как Изольда Марковна, в хорошем настроении.

Моток витой пары. «Верёвка». «Худая». Это сказал Василий Кочет, и сказал так, будто лично отвечал за качество моих верёвок.

Изолента. Синяя. Сотник потянул за конец, лента с треском отклеилась. Он отпустил, лента прилипла к его пальцу. Он попытался её стряхнуть, лента прилипла к другому пальцу. Через полминуты сотник Онфим Глазов стоял с синими пальцами, склеенными между собой, и смотрел на меня так, что я понял: если он когда-нибудь освободится, мне конец.

— Это клей такой, — сказал я быстро и помог ему отклеить ленту. — Для починки. Полезная вещь. Ею всё можно починить.

— Всё? — недоверчиво спросил кто-то.

— Почти всё. Кроме разбитого сердца.

Это толпе понравилось. Бабы переглянулись. Жена Евсея сказала соседке: «Вишь, а говорят, фрязи без души». Я решил, что с юмором тут всё-таки можно, но про сердца надо осторожно, а то снова запишут в сводники.

Компас. Сотник открыл его, и стрелка тут же повернулась на север. Сотник повернул компас, стрелка повернулась обратно. Сотник повернул ещё раз. Стрелка, как упрямая коза, снова уставилась в одну сторону.

— На полночь смотрит, — сказал сотник медленно.

— Матица, — сказал отец Варсонофий. — Это я знаю.

Корабельщики такую имеют. Чтобы в море путь держать. Ты что, корабельщик?

— В некотором роде, — сказал я. — Я по сетям.

— Рыбак, — понял сотник.

— Ну… почти.

Тут он достал из сумки мой телефон.

Я понял, что сейчас будет самое трудное. Телефон был выключен, чёрный, гладкий, в чехле. Сотник повертел его в руках, постучал по экрану, понюхал. Ничего не произошло.

— Это что? Зерцало?

— Зеркало, — согласился я. — Но не только.

— А что ещё?

Вот он, момент истины. Я тридцать лет объяснял людям, что такое смартфон. Обычно я начинаю так: «Это телефон, но в нём ещё есть фотоаппарат, интернет, будильник, калькулятор и все ваши внуки». Но здесь не было ни интернета, ни будильников, ни внуков. Здесь даже телефона не было.

— Это… — сказал я. — Это картинки. Можно смотреть.

Я протянул руку, сотник подумал и отдал мне телефон. Я включил его. Экран загорелся, заиграла короткая мелодия приветствия, и толпа отпрянула назад на целую сажень. Кто-то упал. Кто-то закричал «огонь!». Гуси в корзине у мужика заорали так, будто их режут. Голуби Василия разлетелись.

На экране появилась заставка. На заставке у меня стоит фотография с прошлого Нового года: все пятеро внуков на диване, в колпаках, с бенгальскими огнями, а сзади, на спин-

ке дивана, сидят три моих бывших жены и смеются, а я где-то сбоку, в свитере с оленем, держу торт.

Сотник Онфим Глазов уставился на фотографию. Толпа, осмелев, придвинулась и тоже смотрела из-за его плеча. Даже Евсей Мироныч, хозяин подклета, смотрел.

— Это кто? — наконец спросил сотник.

— Внуки мои, — сказал я. — Пятеро. А сзади жёны.

— Жёны? — сотник поднял брови. — Три?!

— Бывшие.

— Бывших жён не бывает, — строго сказал отец Варсонофий. — Брак есть таинство.

— У нас бывает, — сказал я. — Мы в Москве живём.

Толпа загудела снова, теперь уже возмущённо: москвичи, видимо, не согласились, что у них такое бывает. Но на фотографию смотрели жадно, тянули шеи, кто-то тыкал пальцем в близнецов, кто-то в торт.

— Огни у детей в руках, — сказал Василий, протолкнувшись снова вперёд. — Как звёздочки. А мне можно такой?

— Это бенгальские огни, — сказал я. — На Новый год.

— Новый год у нас в сентябре, — сказал отец Варсонофий. — На Семёна-летопроводца.

— А у нас в январе.

— Точно фрязин, — сказали в толпе снова, уже с облегчением. Всё необъяснимое здесь, видимо, объяснялось этим словом. Удобно. У нас для этого есть слово «нанотехнологии».

Сотник отобрал у меня телефон, как отбирают игрушку у ребёнка, выключать не стал, потому что не знал как, и сунул его обратно в сумку. Экран так и горел у него в сумке, и сквозь брезент пробивался мягкий голубой свет. Сотник покосился на сумку, будто в ней сидела кошка.

— Пойдёшь со мной, — сказал он. — К дьяку. Пущай дьяк решает, какой ты фрязин и чей.

— А к какому дьяку?

— А какой первый попадётся.

Первым попался дьяк Кондрат Фомич Хрипунов.

Он попался буквально: шёл по улице со стороны Торга, с двумя подьячими по бокам и с конюхом сзади, и попался нам навстречу, как камень на дороге. Был он невысок, плотен, с округлым брюшком, туго перетянутым кушаком, с бородой клинышком, кончик которой он постоянно покусывал. На груди у него на шнурке висело несколько печатей, бронзовых и свинцовых, и они побрякивали при каждом шаге, как ключи у завхоза.

— Онфим, — сказал он сотнику, — это кого ведёшь?

— Да вот, Кондрат Фомич, фрязина какого-то в подклете у Шерстобита взяли. Огонь у него на лбу, зерцало с внуками и клей синий.

— Фрязина? — Хрипунов оглядел меня с ног до головы, медленно, внимательно, как оглядывают лошадь на ярмарке. Взгляд его задержался на моей груди, где у меня на шнурке висел бейдж «Ладушки-Телеком», пластиковый, с фотогра-

фией, с моей фамилией и с серебристой полоской голограммы. Голограмма на солнце переливалась.

Хрипунов побледнел. Потом покраснел. Потом прикусил бороду.

— Пайцза, — сказал он хрипло. — Онфим, ты глянь. У него пайцза.

Сотник посмотрел на бейдж. Подьячие посмотрели на бейдж. Конюх посмотрел и на всякий случай отошёл к лошадям.

— Какая ещё пайцза? — спросил я.

— Ты кто таков? — Хрипунов понизил голос. — Ты от кого? От хана? От Ахмата? Гонец?

Я не сразу понял. Потом вспомнил: пайцза. Что-то такое Изольда Марковна говорила. Или нет, это из фильма. Ордынские послы носили на шее металлические пластинки, пропуска, по которым им везде давали лошадей и кормили. Ханский мандат. Что-то вроде служебного удостоверения с правом бесплатного проезда.

А у меня на шее висело ровно то же самое: удостоверение. С правом проезда. В офис «Ладушек» на Каширке.

— Нет, нет, — быстро сказал я. — Я не от хана. Я от… провайдера.

— От кого?

— От Рустама. Он диспетчер.

— Рустам, — повторил Хрипунов, и было видно, что это имя не успокоило его ни на копейку. — Татарин, стало быть.

— Башкир. Из Уфы. Хороший парень.

Хрипунов совсем побледнел и посмотрел на сотника. Сотник посмотрел на Хрипунова. Между ними состоялся молчаливый разговор, и, судя по лицам, этот разговор был обо мне и о том, куда меня девать так, чтобы никто ничего не узнал.

— Вот что, Онфим, — сказал Хрипунов, кашлянув. — Дело тут ямское. Пайцза, гонец, лошади. Это моё ведение. Я дьяк ямской, мне его и допрашивать. Ты ступай, а мы его заберём.

— Ямское? — сотник почесал бороду. — Так он из подклета вылез. Какой ямской? Ямские на конях приезжают.

— А вот я и выясню, на чём он приехал, — сказал Хрипунов. — Сумку оставь.

Сотник Глазов посмотрел на сумку у себя в руке, из которой всё ещё сочился голубой свет, на дьяка, на меня. Он был, как я понял потом, человек грубый, но честный, и такие люди не любят, когда у них из рук забирают вещи с таким вот лицом, какое было у дьяка.

— Сумку, Кондрат Фомич, я сам донесу, — сказал он. — Куда велено. А куда велено, это я ещё не знаю. Может, к тебе. А может, повыше.

— Повыше? — Хрипунов прикусил бороду так, что я испугался за неё. — Это к кому повыше?

— А хоть бы к Аристотелю, — неожиданно сказал Василий Кочет, который, оказывается, всё это время шёл за на-

ми. — Раз он фрязин, пущай фрязин его и признает. Свой своего, чай, узнает.

Все посмотрели на Василия. Василий не смутился, только свистнул вполголоса, и голубь с чёрной полосой на хвосте снова сел ему на плечо.

— А верно, — сказал сотник. — Аристотель-фрязин тут рядом, у собора. Пусть глянет. Ежели его человек, так и с плеч долой. А ежели нет, тогда, Кондрат Фомич, разговор будет иной.

Хрипунов хотел возразить, но не нашёлся. Так мы и пошли к Кремлю: впереди сотник с моей светящейся сумкой, за ним я, за мной Хрипунов с подьячими, а за всеми нами, на почтительном расстоянии, толпа человек в сорок, Василий с голубем и, кажется, гуси.

По дороге случилось происшествие. Мужик с гусями, который шёл за нами в толпе, зазевался, корзина опрокинулась, и шесть гусей вырвались на свободу. Гуси, как известно, существа с характером, а эти, видимо, решили, что во всём виноват я. Они развернулись строем и пошли на меня в атаку, шипя и хлопая крыльями. Я отступил за сотника. Сотник отступил за Хрипунова. Хрипунов отступил за своих подьячих, а подьячие, у которых отступать было некуда, полезли на забор. Толпа хохотала так, что, по-моему, слышно было в Кремле. Спас положение Василий Кочет: он засвистел в два пальца, гуси от неожиданности остановились, и хозяин успел накрыть их корзиной.

— Видал? — сказал Василий с гордостью. — Меня все птицы слушают.

— А люди? — спросил я.

— Люди хуже, — признал Василий. — Люди свистка не боятся.

Хрипунов слез с забора, отряхнул кафтан и сделал вид, что ничего не было. Но я заметил, как он посмотрел на гусей. Так смотрят на свидетелей, которых хотелось бы убрать.

Кремль вблизи оказался совсем не таким, как на открытках. Стены были белые, но белизна эта была старая, серая, в потёках, а местами стена была заложена брёвнами, будто дыру заткнули чем попало. Ворота были деревянные, огромные, окованные железом. Внутри, за стенами, было тесно: церкви, деревянные терема с резными крышами, крыльца, переходы, сараи, огороды, коновязи, лужи. Отовсюду стучали топоры. В воздухе висела пыль от кирпича и известки. И посреди всего этого, огромный, белый, высокий, стоял он: собор. Он был совсем почти готов. Леса снимали с одной стороны, с другой ещё ставили. Внизу, у стен, на огромных досках лежали груды кирпича, длинного, узкого, и стояли бочки с раствором.

У одной из бочек, спиной к нам, стоял человек и ругался.

Ругался он на нескольких языках сразу, и ругался красиво. Я узнал итальянский: в восьмидесятые мы с Людмилой слушали Челентано, и некоторые слова из его песен звучали точно так же. Узнал латынь, потому что отец Варсонофий

рядом со мной вздрогнул. И узнал русский, потому что в самом конце человек сказал совершенно отчётливо: «Ты, Микифор, косорукий, как все бесы».

Микифор, каменщик, стоял перед ним, опустив голову, и держал в руках криво уложенный кирпич.

— Аристотель, — сказал сотник Глазов громко и почтительно. — Не прогневайся. Человека твоего привели.

Человек обернулся.

Ему было, по виду, примерно столько же, сколько мне. Седые волосы до плеч, коротко подстриженная седая борода, лицо загорелое, в глубоких морщинах, нос крупный, с горбинкой. Одет он был не по-московски: в тёмный камзол с рукавами, перепачканными известкой, и в узкие штаны, а на голове у него был берет, тоже в известке. Глаза у него были живые, чёрные, насмешливые. И стоял он так, как стоят строители, у которых сорок лет колени болят от лесов: чуть расставив ноги и немного перенеся вес на левую.

Я так стою тоже. Только у меня правое.

— Мой человек? — сказал Аристотель Фиораванти с сильным акцентом, растягивая гласные, как будто пробовал каждое русское слово на вкус. — У меня нет такой человек.

Он подошёл ближе и оглядел меня. Особенно долго он смотрел на мою жилетку, на светоотражающие полосы, на фонарик на лбу, который я так и забыл снять. Потом посмотрел мне на ноги, на мои рабочие ботинки с металлическими носами.

— Нет, — сказал он. — Не мой. Мои люди так не одеваться.

— Вот видишь, Онфим, — сказал Хрипунов, оживившись. — Не его. Ну, стало быть, мой. Давай сумку.

Мне нужно было что-то сделать, и быстро. Я посмотрел на Фиораванти, на его ругань, на кривой кирпич в руках Микифора, на бочку с раствором, на отвес, висевший на верёвке у ближайшей стены. И вдруг понял, что мне надо делать. То же, что я делаю с любым сложным клиентом. Найти общий язык. Не русский, не итальянский. Наш.

Я протянул руку к сотнику.

— Можно мне на минутку одну вещь из сумки? Не опасную. Честное слово.

Сотник подумал и протянул сумку. Хрипунов дёрнулся, но не успел. Я достал рулетку. Обычную строительную рулетку, пятиметровую, жёлтую, с фиксатором и магнитным крючком. Вытянул ленту на метр. Лента выскочила из корпуса с металлическим шелестом. Фиораванти вздрогнул и уставился на неё.

Я подошёл к стене собора, приложил рулетку к кирпичу, который клал косорукий Микифор, потом к соседнему, потом отошёл, посмотрел на отвес, нашёл в сумке строительный уровень, маленький, карманный, с пузырьком, и положил его на кладку. Пузырёк уехал вправо.

— Вот тут, — сказал я Фиораванти и показал пальцем, — завал. Три миллиметра на полметра. Ваш Микифор кладёт

с уклоном.

Фиораванти посмотрел на уровень. Посмотрел на пузырёк. Потом взял уровень у меня из рук, перевернул, положил обратно на кладку, снова посмотрел на пузырёк. Пузырёк упрямо смотрел вправо.

— Bolla d'aria, — сказал он тихо, почти с нежностью. — Пузырь. В стекле. В воде.

— В спирту, — поправил я. — Чтоб не замерзал.

Он поднял на меня глаза. Насмешка из них куда-то делась. Вместо неё там было то, что я видел за свою жизнь много раз у других мастеров, когда они встречали инструмент лучше своего. Не зависть. Жадность. Хорошая, чистая профессиональная жадность.

— Можно? — спросил он и показал на рулетку.

Я отдал ему рулетку. Он вытянул ленту, отпустил, лента со щелчком уехала обратно. Он засмеялся, как мальчишка. Вытянул снова. Щёлкнул. Засмеялся. Посмотрел на деления.

— Это какая мера?

— Сантиметры. Сотая часть метра. А метр, это… — я задумался, как объяснить. — Это сорок миллионная часть земной окружности по меридиану. Через Париж.

— Через Париж? — Фиораванти поднял брови. — Почему через Париж?

— Так французы решили.

— Французы, — сказал Фиораванти с таким выражением, с каким Тамара говорит про мою третью жену. Потом он по-

вернулся к сотнику, к Хрипунову, к толпе, которая уже набилась в ворота, и сказал громко и чётко, по-русски:

— Это не мой человек. Но это мастер. Я его беру.

— Как это берёшь? — не выдержал Хрипунов. — Он ямское дело! У него пайцза!

Фиораванти посмотрел на мой бейдж, на фотографию, на голограмму. Взял его в руку, покачал, посмотрел на просвет.

— Это не пайцза, — сказал он. — Это… — он поискал слово. — Это знак цеха. У нас в Болонье у каждого цеха свой знак. У каменщиков свой, у кузнецов свой. Здесь написано, кто он и какой мастер. Видите, лицо. Видите, имя. Это знак гильдии.

— Совершенно верно, — сказал я. — Гильдия монтажников. Очень древняя.

— Очень древняя, — повторил Фиораванти, и мне показалось, что он подмигнул.

Хрипунов прикусил бороду, покрутил на шнурке печать, и я понял, что это не конец. Такие люди не отступают, они отходят на заранее подготовленные позиции. В «Ладушках» у нас был такой же, Кирилл Аркадьевич, начальник отдела закупок. Он тоже всегда отходил на заранее подготовленные позиции, а потом из этих позиций лишал всю бригаду премии.

— Добро, — сказал дьяк. — Бери, фрязин. Только уж ты отвечаешь. Ежели он лазутчик, с тебя спросят.

— С меня спросят за собор, — спокойно сказал Фиора-

ванти. — За него спросят, пусть. Я старый, мне не страшно.

Сотник Глазов отдал мне сумку. Свет из неё уже не сочился: телефон, видимо, погас сам, перешёл в спящий режим, как и положено умному прибору, когда вокруг слишком много шума. Я подумал, что правильно, и сам бы с удовольствием перешёл в спящий режим.

Толпа начала расходиться. Евсей Шерстобит, хозяин подклета, напоследок сказал мне, что если я ещё раз появлюсь в его подклете, он возьмёт с меня за постой, как с гостя. Отец Варсонофий сказал, что придёт посмотреть, не бес ли я, когда у него будет время, и что вообще-то у него много вопросов. Василий Кочет не ушёл. Он сел на кучу кирпичей и смотрел на меня так, как смотрят мальчишки на человека, у которого в сумке огонь, клей и живая стрелка. То есть как на лучшее, что случилось с ним за всё лето.

Фиораванти отвёл меня в сторону, в тень от лесов, где стояли две бочки и доска между ними, что-то вроде скамьи. Сел, вытянул ноги, поморщился. Я сел рядом и тоже поморщился. Мы посмотрели друг на друга.

— Колено? — спросил он.

— Правое. А у вас?

— Левое. С Болоньи. Упал с колокольни. Я её двигал.

— Колокольню?

— Колокольню. Целую. На тринадцать метров. В Болонье. На катках. — Он показал руками, как. — Она стоит до сих пор. Наверное.

Я посмотрел на него с уважением. Я за свою жизнь передвигал только шкафы, и то с помощью грузчиков, и то у меня до сих пор от этого спина.

— А я однажды кабель тянул через Москву-реку, — сказал я, чтобы не ударить в грязь лицом. — По дну. В девяносто шестом году. Водолазы ныряли, а я сверху командовал.

— По дну реки? — Фиораванти посмотрел на меня с интересом. — Зачем?

— Чтобы на том берегу было то же, что на этом.

— А что было на этом?

Я подумал.

— Связь.

— Связь, — повторил он, и видно было, что не понял, но запомнил. Он вообще, как я потом узнал, запоминал всё. — Ты мне потом расскажешь. А сейчас скажи правду. Только мне. Откуда ты?

Я посмотрел на него. На старого мастера, которого позвали за тридевять земель строить собор, потому что свой у местных рухнул. Который сам здесь чужой и, наверное, тоже иногда не понимает, где он и зачем. Который двигал колокольни на катках.

— Издалека, — сказал я наконец. — Очень издалека. Объяснить трудно.

— А ты объясни, — сказал Фиораванти. — Как у вас говорят? На пальцах.

Я засмеялся. Этого я не ожидал. Пятьсот сорок семь лет

назад, в Кремле, на бочке, и вот опять: на пальцах.

— Ладно, — сказал я и поднял ладонь. — Смотрите. Вот это ваш собор. А вот это мой дом. А между ними…

Я загнул пальцы, считая века. Загибать пришлось пять пальцев, и ещё половину шестого.

Фиораванти смотрел на мою руку задумчиво. Потом взял мою ладонь, посмотрел на загнутые пальцы, на мозоли, на ожог от паяльника между большим и указательным, на шрам от того самого щитка в Капотне. Потом отпустил.

— Руки мастера, — сказал он. — Остальное мне неинтересно. Я бы тоже не поверил. Но руки не врут.

И мы пошли смотреть, как Микифор перекладывает кирпич.

Глава 3. Жалованная грамота

Первые три дня в пятнадцатом веке я прожил на дворе у Аристотеля Фиораванти и всё это время заряжал телефоны.

Двор у Фиораванти был недалеко от Кремля, за Неглинной, у кирпичных сараев, где сушили его знаменитый кирпич. Кирпич этот обжигали в Калитникове, за Андрониковым монастырём, а сюда возили на телегах, складывали штабелями, и штабеля эти стояли вокруг дома, как крепостная стена. Дом был деревянный, но с итальянскими причудами: в горнице стоял стол на четырёх резных ногах с львиными лапами, а не лавки вдоль стен, как у всех. На столе лежали чертежи, циркули, линейки, мешочки с песком и глиной, недоеденный хлеб и голова сыра, которую Фиораванти привёз с собой из Болоньи четыре года назад и, по-моему, до сих пор доедал.

Жили там сам Аристотель, его сын Андреа, молодой, лет двадцати пяти, тихий и вежливый, слуга Пьетро, кухарка Марфа, которая готовила одинаково плохо и по-итальянски, и по-русски, и пятнадцать котов, которых никто не заводил, но которые знали, где сыр.

Мне выделили лавку в сенях и угол во дворе, на солнечной стороне, где я разложил свою складную солнечную панель. Панель была синяя, блестящая, на трёх секциях, и, когда я разложил её на траве, все пятнадцать котов немедленно на

неё легли. Это было первое, что я узнал о солнечной энергетике пятнадцатого века: коты её любят больше, чем люди.

— Брысь, — говорил я котам. — Брысь, это электростанция.

Коты на меня смотрели с презрением. Им было тепло.

Аристотель выходил во двор каждые полчаса, садился на чурбак и смотрел, как я заряжаю. Делать это было скучно: панель лежит, провод тянется к пауэрбанку, на пауэрбанке мигают четыре зелёных огонька. Больше ничего. Но Аристотель смотрел, как будто перед ним был фонтан.

— Ещё раз, — говорил он. — Солнце падает на это синее. И что?

— И превращается в электричество.

— Что такое электричество?

Тут я начинал объяснять на пальцах, и на пальцах выходило плохо. Электричество, Аристотель Фиораванти, это то же самое, что молния, только поменьше и в проводе. Нет, не опасное. Ну, опасное, но если не трогать. Нет, в коробочке молнии нет. Она там как бы лежит. Нет, не спит. Ждёт.

— Как вода в водяной мельнице, — сказал наконец Аристотель.

Я задумался. Это было неожиданно хорошее сравнение.

— Да, — сказал я. — Как вода. Солнце наливает воду в эту коробочку. А потом коробочка выливает её в телефон. А телефон на этой воде крутит свои колёса.

— Вот, — Аристотель удовлетворённо кивнул. — Так и

надо было говорить. Все эти ваши слова, они лишние. Вода. Мельница. Колесо. Это понятно каждому мастеру.

Он ушёл к себе, а я сидел на чурбаке и думал, что за всю мою трудовую биографию мою работу ещё никто не объяснял лучше, чем я сам. А тут объяснили. И объяснил это человек, родившийся в тысяча четыреста пятнадцатом году.

На второй день пришёл Василий Кочет. Он пришёл не один: с ним были три голубя в плетёной клетке и мешок сухарей.

— Дядька Аркадий, — сказал он, — возьми меня в ученики.

— В какие ученики? Я сам тут неизвестно кто.

— А мне всё равно. Ты чудной, у тебя огонь на лбу. Возьми, я пригожусь. Я голубей гонять умею. Я до Коломны голубя гонял, он за полдня назад прилетел.

— До Коломны? — Я поднял голову. — За полдня?

— А чего. Голубь не лошадь, ему ямщика не надо. Лошадь по ямам меняют, а голубь сам летит. Только голубь куда хочешь не полетит. Голубь только домой летит. Ты его в Коломну отвези, там выпусти, он сюда прилетит. А обратно надо снова везти.

— Односторонняя связь, — сказал я. — Как у Тамары. Она мне звонит, а я ей нет.

Василий не понял, но кивнул. Он вообще, как я заметил, кивал на всё, чего не понимал, и всё это запоминал, а потом, через день-два, приходил и спрашивал. Очень ценное каче-

ство. У меня в бригаде такое было только у одного человека, у Георгия Слепцова, и Георгий сейчас начальник отдела.

Я взял Василия в ученики. Голубей звали по-разному, а точнее, никак не звали: Василий различал их по перьям. Я сказал, что так дело не пойдёт и что у каждого абонента должно быть имя. Мы назвали их Людмила, Тамара и Жанна. Людмила, белая, всё время ворковала. Тамара, сизая, всё время ела. Жанна, с чёрной полосой на хвосте, летала быстрее всех. Сходство с оригиналами было поразительное, и я не знаю, кто из нас больше смеялся, я или Аристотель, когда я ему объяснил.

— Три жены, — сказал Аристотель и покачал головой. — И все три — голуби. Я тебе завидую. У меня одна, и та в Болонье.

На третий день утром на двор Фиораванти пришёл окольничий.

Окольничий был новым для меня словом, но, как выяснилось, означал примерно то же самое, что у нас заместитель генерального директора по общим вопросам: человек, который всё знает, всё решает и во всё лезет, но ни за что не отвечает. Звали его Глеб Ильич Сурмин. Он был высокий, сухой, с узкой седеющей бородой, в длинной ферязи, расшитой по подолу, и с посохом. Говорил он тихо и редко, но так, что все вокруг замолкали. За ним во двор вошли двое детей боярских, дьяк Хрипунов со своими печатями на шнурке и молодой подьячий с чернильницей на поясе.

— Великий князь Иван Васильевич, — сказал окольничий Сурмин без приветствия, — желает видеть того фрязина, у которого пайцза, огонь на лбу и зерцало с внуками.

Я посмотрел на Хрипунова. Хрипунов посмотрел на свои печати.

— Кто ж ему рассказал? — спросил я.

— Слухом земля полнится, — сказал Хрипунов, не поднимая глаз. — Ты же сам на всю улицу светил.

Я понял, кто рассказал. И понял, зачем. Хрипунов не смог забрать меня тихо, поэтому решил отдать громко: если окажется, что я ордынский гонец, то честь ему, что первый донёс. А если не окажется, то, может быть, великий князь разгневается на фрязина, который выдаёт себя невесть за кого, и всё моё добро отберут в казну. А потом, глядишь, и в ямской приказ: огонь на лбу ночью гонцам пригодится. Схема была простая, как у Кирилла Аркадьевича из закупок, и я её узнал по запаху.

— Аристотель, — тихо сказал окольничий Сурмин, — и ты иди. За него ты поручился.

— Иду, — сказал Аристотель. Он снял берет с известкой и надел другой, чистый, бархатный. Это был, как я понял, его парадный берет.

Я собрал сумку. Положил туда роутер, оба телефона, пауэрбанк. Подумал и положил ещё бутерброды. Бутерброды с сыром, Тамарины, второй комплект, за три дня в жаркой сумке стали уже не бутербродами, а скорее воспоминанием

о бутербродах, но выбросить их у меня не поднималась рука. Последнее, что связывало меня с Бирюлёвом.

У крыльца терема нас остановили стражники и велели показать, что в сумке. Я показал. Старший стражник, рыжий, с бородой веником, долго нюхал таблетки от давления, потом спросил, не отрава ли. Я сказал, что нет. Он велел мне съесть одну при нём. Я сказал, что одну уже ел утром и что вторая будет перебор. Тогда он взял засохший бутерброд с сыром и спросил, что это. Я сказал, что это еда. Он велел съесть. Я откусил. Бутерброд хрустнул так, что стражник вздрогнул.

— Фряжская просфора, — сказал он уважительно своему напарнику. — Её, видать, годами сушат. Для святости.

— Для экономии, — сказал я. — Это бывшая жена собирала.

Стражник посмотрел на меня с сочувствием, как один женатый мужчина смотрит на другого, и пропустил без дальнейших вопросов.

Великий князь принял нас не в большой палате, а в небольшой горнице, наверху, в деревянном тереме. Потолок был низкий, расписанный травами и птицами, окна маленькие, со слюдой, свет в горнице был жёлтый, медовый. На лавках вдоль стен сидели несколько бояр в высоких шапках, а у окна, спиной к свету, стоял человек.

Он был высокий, выше меня, хотя и чуть сутулый: такие сутулятся оттого, что всю жизнь наклоняются, чтобы расслышать тех, кто пониже ростом. Лет ему было под сорок.

Лицо худое, с впалыми щеками, с длинным прямым носом, борода тёмная, с рыжиной, аккуратно расчёсанная. Одет он был не так богато, как я ожидал: тёмно-синий кафтан, хорошего сукна, но без золота, только на вороте узкая полоска жемчуга. А глаза у него были такие, что мне сразу захотелось проверить, все ли пуговицы у меня застёгнуты. Тяжёлые глаза, внимательные, светлые. Глаза человека, который привык смотреть сквозь людей и видеть, что у них в карманах.

Позже мне рассказывали, что от взгляда Ивана Васильевича женщины падали в обморок. Я в обморок не упал, но колено у меня заныло. Правое.

Мы с Аристотелем поклонились. Аристотель поклонился по-итальянски, с отставленной ногой. Я поклонился как умел: как кланяются на юбилее у начальника, когда тот вручает грамоту за двадцать лет безупречной службы. Видимо, вышло правильно, потому что никто не засмеялся.

— Ты, стало быть, фрязин, — сказал великий князь. Голос у него был негромкий и глуховатый. — Который не фрязин.

— Я не фрязин, государь, — сказал я. — Я москвич.

В горнице стало тихо. Бояре на лавках переглянулись.

— Москвич, — повторил великий князь. — Я всех москвичей знаю. Тебя не знаю.

— Я из дальней Москвы, государь. Из очень дальней.

Он посмотрел на Аристотеля. Аристотель развёл руками.

— Он мастер, государь, — сказал Аристотель. — Я за мастера поручился. Остальное он сам скажет.

— Говори, — сказал великий князь мне. — Дьяк Хрипунов сказывает, у тебя пайцза. Говорит, ты от Ахмата гонец, а таишься. Говорит, у тебя зелье, огонь, бесовское зерцало и синий клей, который пальцы к пальцам вяжет. Онфим-сотник потом полдня пальцы отмывал.

Хрипунов, стоявший у двери, наклонил голову: мол, так и есть.

Я снял бейдж и протянул его великому князю. Подошёл окольничий Сурмин, взял бейдж, передал. Иван Васильевич повертел его, посмотрел на фотографию, на меня, снова на фотографию.

— Похож, — сказал он. — Это кто писал? Иконописец?

— Это не писали. Это… Это свет сам нарисовал. Есть такой прибор.

— Сам, — повторил он. — Что написано?

— «Пташкин Аркадий Семёнович. Монтажник-наладчик. Ладушки-Телеком».

— «Ладушки», — повторил великий князь, и мне показалось, что угол рта у него дрогнул. — Это ханский ярлык такой? «Ладушки»?

— Нет, государь. Это мой цех. Мы ставим связь.

— Какую связь?

Вот он, момент истины номер два. Я понимал, что от следующих пяти минут зависит всё: буду ли я жить на дворе у Аристотеля и заряжать телефоны, или буду жить в погребе у Хрипунова и заряжать его собственное удовольствие. Ари-

стотель мне вчера, между прочим, рассказал, как на Москве поступают с лазутчиками. Без подробностей. Подробности он изобразил руками.

Я глубоко вдохнул.

— Разрешите, государь, я покажу. Мне нужны две горницы. Одна вот эта. И ещё одна, рядом, через стену. И кто-нибудь, кому вы доверяете.

Великий князь подумал.

— Сурмин, — сказал он.

Окольничий Сурмин поклонился, ничего не спросив, как и положено замгенерального по общим вопросам.

Я достал из сумки роутер, маленький, белый, размером с мыльницу, с тремя зелёными лампочками, и поставил его на подоконник. Включил. Лампочки замигали. Бояре на лавках, все, как один, подались назад, хотя сидели и так у стены. Потом достал два телефона. Свой, побольше, и тестовый, с треснутым экраном. На обоих стояла программа для переговоров, наша, монтажная, которую ребята между собой звали «рацией». Она соединяла телефоны через роутер без всякого интернета. Нужен был только роутер и чтобы оба телефона его видели. Я включил оба. Оба нашли сеть «Ladushki_Test». Оба подключились. Пароль у тестового роутера был заводской, восемь цифр, по порядку. Мы его никогда не меняли, потому что зачем: роутер тестовый, ворованного у нас там ничего нет.

Я протянул свой телефон окольничему Сурмину.

— Вот. Возьмите и идите в соседнюю горницу. Закройте дверь. Как только услышите отсюда голос, нажмите вот сюда, на зелёное, и говорите.

Сурмин взял телефон двумя пальцами, как берут что-то горячее. Посмотрел на великого князя. Великий князь кивнул. Окольничий вышел. Дверь за ним закрылась. Было слышно, как он прошёл через сени и закрыл вторую дверь.

Я протянул тестовый телефон великому князю.

Он не взял.

— Сам держи, — сказал он.

Я понял. Не боится, нет. Просто государю не по чину держать в руке непонятную коробку, когда на него смотрят бояре. Если выйдет глупость, глупость должна выйти у меня в руках, а не у него.

Я нажал на зелёное.

— Глеб Ильич, — сказал я в телефон. — Глеб Ильич, слышите меня? Приём.

Тишина. В горнице было так тихо, что я слышал, как жужжит муха под потолком.

Потом из телефона раздался треск, шорох, и вдруг голос окольничего Сурмина, громкий, чуть надтреснутый, абсолютно узнаваемый, с придыханием, как у человека, который нечаянно наступил в холодную воду:

— Господи Иисусе! Слышу! Слышу, ей-богу!

Бояре вскочили. Все. Один уронил шапку. Один перекрестился так широко, что задел соседа. Аристотель Фиораван-

ти ахнул, шагнул к телефону и замер. Хрипунов у двери открыл рот, и кончик бороды выпал у него изо рта. А великий князь Иван Васильевич не шелохнулся, только глаза у него стали ещё светлее, и он медленно протянул руку и взял у меня телефон. Сам.

— Сурмин, — сказал он в телефон. Не громко. Тем же глуховатым голосом. — Это я.

Пауза. Треск. Потом из телефона, после очень длинной паузы, с полным отчаянием в голосе:

— Государь… Государь, прости… Я не ведаю, кланяться мне али как?

Великий князь засмеялся. Коротко, отрывисто, будто кашлянул, но засмеялся. Бояре переглянулись: видимо, слышали это нечасто.

— Не кланяйся, — сказал великий князь в телефон. — Скажи мне, что у тебя в той горнице на столе лежит.

Пауза. Шорох.

— Книга лежит, государь. Псалтирь. Раскрыта на сто тридцать девятом псалме. И огарок. И ещё… яблоко.

Великий князь отдал телефон мне, повернулся к ближайшему боярину и сказал:

— Сходи.

Боярин сходил. Вернулся. Поклонился.

— Псалтирь, государь. На сто тридцать девятом. И огарок. И яблоко надкушенное. Это Глеб Ильич, видать, надкусил, пока ждал.

Окольничий Сурмин вернулся сам, бледный, с моим телефоном в руке, и протянул его мне таким жестом, будто возвращал мне мою же отрубленную голову.

— Голос, — сказал он. — Голос из стены. Как из гроба. А потом государев. Как будто государь мне на ухо. Тихо так.

Великий князь сел на лавку у окна. Сел медленно, как садятся люди, которые сейчас будут долго думать. Он посмотрел на роутер на подоконнике, на мигающие лампочки, на меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.